

ГЕРОИЧЕСКОЕ

Р.А. Борецкий

КАЧЕЛИ. НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ ВОЕННОГО ДЕТСТВА

Героическое

Однажды я жил несколько дней в деревне, которая была во время войны оккупирована немцами. Жители охотно рассказывали о прошлом. Многие подробности удивили меня. И вот что поразительно: получалось, будто рассказы мало похожи друг на друга. Одна пожилая женщина вспоминала, как немцы загнали их в сарай, и чуть было не сожгли, но не успели. На окраине деревни начался бой с нашими солдатами. Другая вспоминала, как неожиданно для окружающих начала крутить любовь с немецким воякой. Да только не измена это была, а любовь. Как они страдали, рискуя жизнью. Выходило из рассказа, что именно этот фриц прибежал к сараю, сорвал замок, когда над головой свистели пули, и спас всех. А то наши-то не успели...

Я тогда подумал: война была одна на всех. Но и у каждого она была своя, единственная в его судьбе. Недавно в вузе, где я веду кафедру, был круглый стол, посвященный войне. Говорили о верных солдатах, о преданности присяге. И тут я вспомнил рассказ одного коллеги, который во время войны был в народном ополчении. Он вместе с другими солдатами рыл траншеи на подступах к Москве. Однажды пришел военспец и сказал: «Товарищи, копать надо глубже, иначе во время боя мы не сможем удержать позиции». О его словах сообщили куда следует. Военспеца расстреляли за то, что пытался посеять панику. Ведь всем было ясно, что немцы никогда не подойдут к Москве. Так кто же был человеком присяги? Тот, кто выполнял свой долг и был расстрелян? Или тот, кто испугался переполоха?

О войне написано много. Но отрывок из повести Р.А. Борецкого, который мы публикуем, не знает сходных примеров. Он не о военных сражениях. Это по существу документальный рассказ о страданиях,

страхах, фантазиях Ромки, подростка, который оказался в оккупированном городе. Эта тема, судя по всему, почти экземплярна.

Рудольфа Андреевича Борецкого я знаю лично. Он разносторонен и талантлив. Родился он в городе Киеве 11 февраля 1930 года. Будучи доктором филологических наук, он многие десятилетия и сегодня является профессором факультета журналистики МГУ.

«Качели», как он сам сообщает, — книга неожиданная для самого автора. Написалась, как по его признанию, как-то вдруг, за два летних отпуска. И вовсе не о том, чем он занимается вот уже столетия.

По образованию Р.А. Борецкий — психолог. С середины 50-х годов судьба связала его с телевидением. Сначала журналист-практик, затем преподаватель и исследователь, автор полутора десятка книг о медиа, пары сотен научных и публицистических статей, изданных в стране и за рубежом.

Отрывок, который мы публикуем, воспоминание о жизни мальчишки и его сверстников, которым вместо нормального детства война навязала суровое взросление через совсем не детские приключения, опасности, лишения, в постоянном соседстве со смертью.

Книга о выживании в оккупированном городе, потом в изгнании и, по возвращении домой — в ожидании Победы. Воссоздание той страшной поры, которая сейчас кажется нереальной — не только дань тем, кто выстоял, не потерял себя. Это память об ушедших, о невосполнимых потерях — о тех, кого больше никому вспомнить. Автор надеется, что его невымышленный рассказ добавит несколько достоверных страниц к правдивой истории войны, которую переживал обыкновенный рядовой человек в нечеловеческих обстоятельствах.

П. Гуревич

Р.А. Борецкий

КАЧЕЛИ.
НЕПРИДУМАННАЯ ИСТОРИЯ
ВОЕННОГО ДЕТСТВА¹.
(Главы 16-21).

Глава 16

Ромка тоскливо глядел в окно, где напротив, почти закрывая небо, высилась восьмиэтажная громада. Выросла она здесь четыре года назад — дату он помнит точно потому, что пошел тогда в первый класс — и среди красивых, непохожих друг на друга, «старорежимных» строений выглядела неуместно. Ромку, и в былые времена торчавшего у окон, не очень-то занимали архитектурные контрасты, хотя и он, вслед за взрослыми, чувствовал некое нарушение гармонии, обозначившееся на его родной улице. А еще дом тот закрыл серым своим однообразием зеленое буйство рощицы, примыкавшей к Анатомическому театру (соловьев туда ходили слушать), за ней — выстроенных в шеренги тополей бульвара, а еще дальше — почти до горизонта — диковинных деревьев Ботанического сада.

Хотя... было одно обстоятельство, которое быстро примирило Ромку с таким, казалось катастрофическим, изменением законного пейзажа. В первом еще классе ему как-то почти одновременно «предложили дружбу» Герман Завицкий и Леня Гомильный. Первый как-то отодвинулся, а потом и вовсе отпал: уж очень высоким начальником был его отец, белобрысого мальчика в бархатном костюмчике привозил шофер на темно-синей «эмке», и жил он в каком-то правительственном доме. А вот Леня... С тем было попроще. Родился он в Германии, в городе Гамбурге, где отец его был торговым представителем, но в 1933-ем или начале 1934-го им, евреям по национальности, немцы предложили выехать. Вот они-то и поселились в том самом доме на пятом этаже. И когда взрослые продолжали поругивать «безвкусное чудище», Ромка вставлял: «Это дом моего друга».

Разглядывая сейчас уныло-однообразные ряды окон полумертвого дома, Ромка зацепился взглядом за кусочек балкона, откуда увидели с Леней первый троллейбус, маршрут которого сворачивал к вокзалу как раз под ним и окошком Лениной комнаты, где за стенкой готовили вместе уроки... Гомильные одними из первых уехали в эвакуацию. «Значит, — подумал с уверенностью, — спаслись».

Послышалось, или показалось, тихое постукивание в стенку. Прислушался: такой же тихий стук во входную дверь. Оторвался от окна, нехотя побрел в коридор. Приоткрыл занавеску, выглянул: грязный старик в обрешанной до колен шинели, голова замотана тряпкой. Пленный? Нет, старых таких не бывает. Нищий?... Старик пытался что-то сказать, но Ромка, все поняв, прикрыл дверь, бросив: «Сейчас вернусь». Дома резанул половинку оставшегося хлеба и в два шага был снова у двери. Протянул горбушку старику: «Возьмите, дедушка!». Тот дернулся, будто судорога кинула его вперед, навстречу: «Сы-ы-нок!» — тихо простонал, выдавливая изнутри сиплые звуки. Ромке послышалось в них что-то знакомое, но весь облик седого нищего был не только чужим — страшным. Попятился, зажав в правой руке горбушку хлеба, левой пытаясь прикрыть-захлопнуть дверь. «Сынок, Ромочка, это же я... я это», — тяжело хрипел старик. Ромка, как во сне, еле переставляя непослушные ноги, вошел в комнату. За ним — старик, ковыляя опорками, перевязанными проволокой. Крупные слезы катились из его глаз, прикрытых седыми бровями, исчезая в серебристой щетине. — «Я, я это, сынок...», — не переставая, бормотал старик пятившемуся от него мальчику.

Нахлынувшая вдруг теплая волна остановила, толкнула навстречу, уткнула Ромкино лицо в его шинель. «Дед», — вспомнил он. Не было мыслей, не было уже вопросов, стучавших беспорядочно в висках. Не ощущал он и кислой вони, исходившей от тряпья, прикрывавшего — теперь уже всем собой чувствовал — ЕГО ОТЦА.

«Папочка, папочка, давай скорее все это, — дергал то за рукав, то за тряпку, свисавшую с головы, — давай скорее снимем». Отец, медленно поворачивая голову, оглядел комнату, осторожно присел на краешек стула: «Я, понимаешь, сынок... Не помню, когда мылся. Тут все, — провел по себе рукой, — в насекомых, во вшах... Не заразить бы тебя, весь дом... — говорил все так же тяжело, будто боролся с кем-то там, внутри себя. И вдруг встрепенулся. — А мама где?» — «Мама за тобой поехала, в Хорол. Тут был от тебя...» — «Вот оно что... — кивнул отец, — разминулись, значит». Снова погас, обвалился будто. Потом, очнувшись: «Растопи камин. Сумеешь?». Ромка уже тащил обрывки бумаги, два полешка (в сарае осталось двенадцать и две колоды, с которыми управиться и не пробовал). Отец стянул с себя шинель, сгреб аккуратно в комок, доковылял к занявшемуся уже огню и положил поглубже в жерло камин. Ромке: «Помоги, сынок, стянуть гимнастерку, — наклонился, — поднимай вверх, тяни со спины. А я — спереди». Тоже комком уложил в камин. «Теперь — я сам. Займись камином». Ромка кочергой подгрел

¹ Борецкий Р.А. Качели. Непридуманная история военного детства. М., 2005.

развалившееся тряпье к огню. Отец долго возился, кричал и подбросил еще комок тряпок. Это — сразу — в огонь, в самый жар.

Из камина послышался тихий треск. Отскакивая от тлеющего тряпья, вспыхивали крохотные голубые огоньки. — «Вши, сынок, вши это трещат, лопаются. Теперь добудь воды и тазик. Если есть — кусочек мыла».

Ромка, оторвавшись от жуткого зрелища, обернулся на голос отца и... — «Что они... что сделали они с тобой?». Зеленовато-желтая кожа на выступающих ребрах и — руки. Это отцовы руки?! Вместо бицепсов-бульжников дряблые мешочки такой же кожи вокруг палок заканчивались огромными кистями. Что-то похожее Ромка видел в книге о художнике, кажется, звали его Гойя. Что сделали они с его сильным, могучим отцом?! — «Принеси кусачки — там, в нижнем ящике. Теперь перекуси проволоку. Обмотки, онучи эти — в огонь». Палки ног, разделенные набрякшими мослами колен, тоже были страшны. Чтобы не разреветься, побежал в коридор искать таз, мыло, добывать воду.

Кое-как потер его старой банной мочалкой, укутал в махровое полотенце. Но встать отец не смог, дотащил его до постели, усадил. Перевернул на бок, укрыв, укутал.

Ночь у Ромки прошла без сна. Отец стонал, что-то тихо выкрикивал, снова проваливался. Ромка с открытыми глазами, даже не пытаясь уснуть, все думал и думал: как же это может быть, чтобы из дому ушел один человек, а вернулся — совсем другой, непохожий, страшный и такой жалкий. Почему даже не вспомнил о еде? Почему он, Ромка, и не подумал даже предложить, накормить насильно? Почему вообще не задал ни одного вопроса?..

Заставил себя выбраться из-под одеял. В комнате — промозглый холод: камин давно остыл. Отец, как-то по-детски скорчившись, подобрал колени к седой спутанной бороде, хрипло дыша и постанывая, все еще спал.

Комната, в которой они жили — просторная, в 30 метров, красивая — была когда-то кабинетом-приемной зубного врача. Соседняя — за шкафом замурованная дверь — кабинет лечебный. Там была кафельная печь-голландка, а им достался прожорливый и «дурацкий этот» камин. Чтобы не мерзнуть, отец придумал обогреть электричеством, «пустив» его мимо счетчика. Но, опять-таки, то было давно...

...Мама вернулась к вечеру. Ромка видел, как старается не выдать себя, как сдерживает накатывающую истерику. Ее всегда, он уже понимал, спасало то, что переключалась на дело. Не суетливо, нервно и беспорядочно, но сосредоточенно, уходя в него без остатка.

И теперь с помощью Ромки сняла большую оцинкованную балию, висевшую на гвозде в коридоре, нагрела воду в ведре, потом — мыла, терла дряблую кожу. Терла, мыла, будто старалась снять, смыть с отца весь ужас им пережитого... Потом старой и верной отцовской бритвой Solingen сбрила бороду. Под ней, хотя и узнаваемый, но другой, совсем другой: глаза, когда-то со смешинкой, теперь тяжелые, мутные, с синими обводами, втянутые щеки, торчащие скулы. Но и это все было не главным: погасший, безучастный, безразличный ко всему.

Переполненный значительностью предстоящего, Ромка полез в буфет за своей драгоценной добычей: сыр, колбаса, масло... Мать, удивленно глянув на все это пиршество, тихо зашептала: «Спрячь, спрячь немедленно: ему это сейчас как яд». Взяла незаметно кусок колбасы, отрезала с четверть и вышла. Вернулась с чашкой какой-то крупы. «Небось, у Веры выменяла», — подумал вконец огорченный Ромка. «Ему сейчас только кашу жиденькую... А ты... где же это ты добыл?» — строго спросила мама.

...Дни шли, а отец по-прежнему ночами стонал, бормотал что-то невнятное, вскрикивал, как от боли, а днем — молчал, медленно переводя невидящий, казалось, взгляд, подолгу останавливаясь на чем-нибудь без разумительного смысла. Оставался весь в себе.

Потом стал просить у мамы оставлять на ночь тарелку с какой-нибудь едой возле кровати. Долго и молча копаясь, собрал ту, старую электрическую печь собственной конструкции. Подключил, чтобы не крутила счетчик. И — стало теплее. Потом — снова заполз в себя, спрятался, умолк надолго.

Ромка несколько дней уже не видел Колю. К тихому, приветливому и так много знавшему однокласснику, на которого прежде и внимания-то не обращал, Ромка привязался крепко, всей своей опустошенной, осиротевшей душой.

Теперь уйти из дома было проще. Кивнул, крикнул: «Я — к Коле!», — и поскакал вниз по выщербленным мраморным ступеням.

Коля будто ждал его — обрадовался: дома ни мамы, ни бабушки не было. Рассказ об отце, его долгожданном, но таком печальном возвращении, выслушал не перебивая, но все больше грустнел. — «А мой никогда не вернется. Оттуда, — мотнул головой, — мало кто возвращается. Ни одного письма, никаких вестей за все эти годы... Там, говорят, деревья пилят, валят, таскают в пятидесятиградусные морозы. А он — ноги промочит, и ангина сразу. Да и слабый — мелкий в кости он». Потом, оглядев себя: «Я вот в него... Если бы в деда!». И, сразу перескочив на другое, выпалил: «А мамка, знаешь, что учудила? Святую Анну Коваленке без спросу отнесла. Тот, помнишь, белой эмалью покрытый золотой крестик.

Бабушка — в крик, в слезы. Мама ей: так и будешь сидеть на этом добре, пока все мы с голоду не опухнем? А бабка, как увидела, что она принесла — всякие там баночки с повидлом, кофе, колбасу, конфеты — хлоп, в обморок завалилась. В общем, цирк!».

Превратить в шутку ту историю не получилось. Ни Коле, ни Ромке смеяться не хотелось. Оба замолчали, каждый думая о своем. Но разные их мысли шли к одному и на этом одном застревали без ответа: что дальше?

Глава 17

Город цепенел от стужи. Согнутые, с забитыми поглубже в рукава ладонями, когда-то приветливые и степенно-неторопливые прохожие быстро семенили по улицам, не замечая встречных. Казалось, все были озабочены одним — как выжить? Голодные люди мерзли у себя в домах, все труднее становилось с едой, не работала канализация, а с водой — вообще катастрофа.

Ромка наперечет знал все источники-колодцы. Кроме площади перед университетом, были еще у собора, возле Евбаза; во дворах за старыми особняками кое-где еще трудились дореволюционные колонки. Сначала носил одно ведро, да и то старался набирать не до полна. Потом — ведро и бидон, с которым ходил когда-то за квасом. Теперь — осилил два ведра, как взрослые, и был тем не только горд, но и доволен — почти вдвое сократил число ходок. Хуже было с канализацией. Его обязанность — каждое утро выносить ведро с вонючей гадостью во двор, сливая в люк для нечистот.

Существование его приобретало все большую одинаковость, похожесть каждого предыдущего дня на нынешний — тот, в котором он пребывал сейчас. Унылый автоматизм заранее предсказуемого. И все это противоречило натуре — попросту вступало в противостояние с детством, для того и отведенном человеку временем, когда сполна должен он получить свою долю беззаботной радости, бездумного веселья, неожиданных открытий.

Что-то похожее вертелось у него в голове, переменяясь с чувством обиды. Но — все реже, реже, пока не исчезло вовсе.

Город, казалось, сползает к гибели. Но так бывает, наверное, повсюду, где нарастает неблагополучие и копится бедность. Где придавленных, лишенных даже надежд на будущее — огромное большинство.

А между тем, то тут, то там появлялись ресторанички, открывались кондитерские, за витринами дорогих магазинов чинно и деловито двигались люди, и не только в немецких мундирах. Готовились к открытию театры, а в нескольких кинотеатрах уже крутили фильмы, сделанные в Германии.

Значит, не всем одинаково плохо. Значит, думал Ромка, есть и такие, для кого — и рестораны эти, и магазины. Но кто они, эти люди? Немцы — понятно. А вот те, в гражданском — кто они?

Он знал, что Колина мама убирает в «богатом доме». Что там живут не немцы. Колька объяснил коротко и ясно: у хозяев всегда есть холуи, а рядом еще и те, кто ворует. Вот для них и дома богатые, и рестораны всякие, и магазины дорогие.

Ромка тут сообразил — что-то слышал в школе и читал где-то. — «Так то же у буржуев», — возразил. — «А немцы, думаешь, кто? Буржуи и есть. И холуи, которые им служат. Но вот, что я думаю: буржуи — не буржуи, везде так, как ни называй». На улицу идти не хотелось — холодно, пустынно и, в общем, некуда. «Давай, буду тебя немецкому учить. Раз так уж получилось, нужно научиться шпрехать».

Ромка вяло — делать все равно нечего — согласился. Но с тех пор, если не каждый день, то несколько раз в неделю занимались они этим резким, рокошущим языком, который, говорила мама, годится лучше всего для команд. Потом, когда заговорил, стал читать — так ему уже не казалось.

Вообще-то Ромка должен был появиться на свет в Америке, в штате, который обозначался загадочными буквами «Ра». Потом расшифровали они с мамой это «Ра»: Пенсильвания.

Это тоже была история из тайн, строго охраняемых от постороннего уха и глаза. История, о которой мама не переставала скорбеть, а отец — не произнес при сыне и полслова. Молчал, будто ничего этого и не было.

...Мама оказалась, если судить по ее быстрым успехам, очень способной портнихой. Получив от добросердечной соседки первые уроки модельного искусства, она уже через два года вела школу кройки и шитья для жен командиров. Через три, когда уже расцветал нэп, открыла собственную.

На углу Прорезной и Владимирской в известном тогда доме «маркиза» (или «маркизов» или «с маркизами» — Ромка точного названия никак запомнить не мог) купила трехкомнатную квартиру. Окна на Владимирскую — полуподвальные, зато во двор — высокий бельэтаж. Как у них — клуб охотников. Одна комната — гостиная-столовая, другая спальня, а в третьей — ее школа.

Потом совсем неожиданно (через «Красный крест», поясняла) получила письмо из Соединенных Штатов. Оказалось, что когда умер отец, который так и не пришел в себя после паралича, все, кто в семье остался в живых, подались за океан.

Письмо было от старшей сестры. В продолговатом голубом конверте — фото: нестарая еще женщина, по-

хожая на маму, рядом: мальчик и девочка — ее дети, а сзади большой красивый дом. Их дом. Вот туда и звала она маму. Если у нее семья, то с семьей.

Мама писала ответ, старательно выводя польские буквы, вспоминая полузабытые слова родного языка. Через несколько месяцев их переписки пришел толстый пакет с печатями, штампами и множеством марок (эти отклеенные марки стали началом Ромкиной коллекции. Но это было много лет спустя).

В пакете оказались две «шипскарте» — два билета на пароход «Гамбург — Нью-Йорк» и чек, чтобы могла купить билеты на поезд до Гамбурга. А еще — приглашение, какие-то анкеты. И все — для госпожи Ядвиги-Марии Волковой и ее мужа. Была там еще какая-то специальная бумага для кошки Пушинки.

Мама засобиравалась энергично, решительно. Отец — вяло, неохотно («Все время приходилось, — рассказывала мать сыну, — преодолевать его сопротивление»).

Продала квартиру, переехали к Полине — Пеле, ее давней подруге. Стали ждать разрешения на выезд. Пришло — маме, отцу — отказ. Без объяснений — нельзя и все. Потом, когда в отчаянии обивала пороги всяких чинов-начальников, один из них пояснил: «Вы поезжайте, скатертью дорога. Для нас вы чужая. А вот муж ваш, Андрей Денисович, наш человек — и за Россию, и за Советскую власть воевал. Пролетарий он, понимаете? Если таких, как он, капиталистам отдавать станем, социализма в нашей стране не построим».

Все рухнуло. Бросать мужа — и полмысли такой не было. Написала сестре «ужасное, паническое письмо» (вспоминала мама). Но там — не поняли ни маминой паники, ни ее отчаяния. Ответ был сух: «Ну и оставайся со своими большевиками». Так вот мама и осталась чужой среди своих, но и своей среди чужих не стала.

На оставшиеся деньги с трудом — нэповские свободы шли к закату — нашли новое жилье. Ту самую комнату в коммуналке, куда принесли Ромку из роддома в феврале 1930. Но это случилось только три года спустя. Ни об этой печальной истории, ни о родственниках за границей больше не вспоминали. Да и они тоже перестали о себе напоминать.

Вот потому-то Ромка не буржуй какой-то, не американец из штата Ра, но — советский пионер, который «всегда готов!». А к чему он готов сейчас, Ромка, по правде говоря, не знал.

Радио по-прежнему говорило о «победах немецкого вермахта на всех фронтах», сообщало о «бесплезном, лишённом перспективы сопротивлении остатков Красной Армии». Но почему-то о Москве, купола и крыши которой «видны в бинокль» — ни слова.

Ромка уже дважды побывал в «главной столице». Один раз с мамой, когда только-только открыли метро. Город тогда не запомнился, зато летящие под землей вагоны, мелькание в окошках станцией, лестницы, которые сами бежали и несли людей на себе — все это невиданное сказочное мельтешение, стремительная смена впечатлений засели в памяти надолго.

В другой раз — после второго класса, уже с отцом. Тогда и город крепче запомнился — многолюдный, суматошно куда-то спешащий. Удивил, ошеломил, оглушил, но не понравился. «Киев, — сказал отец, — город для жизни, для сердца. Москва — для работы, для успеха».

Не все понял тогда Ромка, но почувствовал что-то схожее. Его ощущение подтверждал пример дяди Сережи — Сергея Афанасьевича, у которого они останавливались оба раза: перевели его в Москву и был он уже большим начальником — руководителем главка в каком-то наркомате.

Опять занесло его в далекие воспоминания. И потому наверное, что разговор как раз зашел о ней, о Москве. Юлия Александровна вспомнила, что еще месяц назад немцы собирались победный парад там устроить. И — молчок. Значит, что-то неладное у них там. Может, наши собрались, в конце концов, с силами...

Отец все еще будто отсутствовал, словно и не было его вовсе. Сидел, глядел куда-то. Если вставал, двигался как-то пригнувшись, тихо передвигая свое ссохшееся, невесомое тело. Добавилась еще одна напасть: чуть ли не каждое утро находила мама возле тарелки, которую он опустошал ночью, один, а то и два зуба. Вынимал их легко, без боли, словно папиросу из пачки. «Цинга, — сказал он безучастно. Два месяца зерна из глины выгребали, под дождем размачивали... Больше есть было нечего». Последнее произнес, словно извинялся. Снова надолго ушел в себя.

На следующий, или через день, вернувшись от Коли после немецкого, Ромка застал мать среди вороха разноцветных лоскутов, мятых тряпок, каких-то то ли бантов, то ли лент. «Вот какой я молодец, что все это не повыбрасывала. А ведь собиралась много раз». Ромка — презрительно: «Думаешь, купит кто у тебя это шмотье?» — «Посмотрим, посмотрим», — сортируя, раскладывая на кучки, с вызовом ответила мама.

И — началось: машинка Singer снова застрочила-застрекотала, да так, что никому ни сна, ни отдыха. Одна за другой отскакивали в сторону то кофточка, то блузочка, то косынка, то шарфик. Потом: «Утюг, где утюг? Куда же я его?..» — гладила, подносила к окну, оглядывала, снова сортировала, снова раскладывала. Наконец, подвела итог: «Все. Надо действовать. А то и вправду подохнем. Какие там ни есть, а продук-

ты — на селе. Им, крестьянам, одеваться нужно? Нужно. А кому и придется- прихорошиться. Жизнь везде и всегда — жизнь».

Ромка теперь уже слушал с интересом и думал без насмешки. Из ничего, из мусора какого-то она что на-творила! — «Поеду-ка я куда-нибудь за город, доберусь до села побогаче и наменяю там — крупы какой-нибудь, масла, даже сала, может, удастся». — Не слушавший, вроде бы, отец проговорил: «Тебе одной не следовало бы... А я...» — «Нет, нет, отдыхай. Ты же знаешь, я сама привыкла... а ты приходи в себя».

Ранним утром, только еще рассвело, отправились на вокзал вдвоем. Ромка пошел провожать маму даже не потому, что нужна была помощь — легкую сумку рука его даже не ощущала. Интересно было глянуть — как там любимый вокзал, с которого начинались его былые путешествия. От одного предчувствия, от упоминания одного — «вокзал» дух захватывало...

На овальном фронте главного здания — по-немецки: «Bahnhof-Kiew». В огромном зале ожидания — серая, безликая толпа таких же, как его мама, менял, называли которых мешочниками. Редкие группки немцев в форме. Перед выходом на перрон, где по сторонам стояли кадки с пальмами, в глаза бросалась надпись, тоже по-немецки: «Ausgang nur für Reichsdeutsche» — выход только для имперских (настоящих то есть, подумал Рома) немцев. Пошли в обход. Куда едет мама, когда вернется, сын не знал, да и она не знала тоже. «Ждите, вернусь. За отцом смотри...».

Поезд, увешанный людьми на подножках, натужно дернулся и поплыл вдоль перрона. Мама была уже где-то там, в глубине вагона. Ромка повернулся было к выходу, но женский крик — стон, нет, вой — остановил. Сначала серый клубок, показалось, ползет вровень с вагоном. Потом увидел бабу в платке и ватнике, вцепившуюся в поручень. Одна нога на подножке, другая едет-скользит по перрону. То ли сорвалась, то ли столкнули. Поезд набирал скорость, вагон с орущей бабой поравнялся с Ромкой, и он, не сообразив, что делает, рванулся к подножке, но вагон был уже впереди. А на черном асфальте остался мокрый бурый след — полоса крови от стираемого, как напильником, колена. Отпусти она поручень, скатится-скользнет в проем между перроном и вагоном — прямо под колеса. «А-а-а. У-у-уйя...» — неслось над опустевшим вокзальным причалом все тише, все дальше, пока не оборвался перрон и не затих звериный вопль. Женщина исчезла, обвалилась там, вдали. Поезд, изогнувшись змеей, скрылся, окутанный облаком паровозного дыма.

Еще какое-то время, стараясь не опускать глаза вниз к жуткому кровавому следу, мальчик постоял оцепенело на краю обезлюдевшего перрона и побрел домой.

Глава 18

Вернулась мама вечером того же дня. То есть сам смысл слова «вечер» изменился: от суток остался день — время, когда разрешалось двигаться, перемещаться в пространстве, и ночь, когда под страхом смерти должны были все замереть. Коротенькую прослойку ранних сумерек между ними можно было считать вечером.

Так вот они, эти пугающие сумерки, уже сгущались — вот-вот наступит расстрельное время ночи... Появилась, вернулась, слава Богу!

«Мародеры проклятые — у полуживых, загнанных людей отбирать с таким трудом добытые крохи. Ну что это, скажите на милость?!» — выкрикивала, выбрасывала из себя зло и, вместе с тем, жалобно. Трясушимися от обиды и усталости руками распутывала — так и не распутала — стянула платок, старое пальтишко, села возле легкой — пустой, наверное, сумки, которую швырнула сразу, как вошла в комнату.

Помолчав, уняв дыхание, стала рассказывать. Как сельские бабы — не очень-то доверчивые, хитроватые — сразу принялись перебирать и выбирать для себя ее «веселые тряпочки». Как быстро наполнила она сумку: и фасольки мешочек, и гречки, и муки, даже сала приличный кусище и масла домашнего сливочного в тряпице одна вынесла...

На вокзале — заметили только, когда поезд уже скользил вдоль перрона — облава. Полиции в черных шинелях и немцы. Оцепили поезд, перекрыли выходы, все щели. Бывалые, видимо, бабы быстро и споро стали рассовывать добычу — кто за пазуху, кто под юбки.

«И я, вот, — расстегивая кофту и вытаскивая обернутый тряпицей прямоугольный ломоть, — спасла». Отец развернул, рассмотрел тонкий, в два пальца кусок, сказал: «Не сало это — подчеревина. Ее варить надо, и потом — с хреном или горчицей...». Мать кивнула, соглашаясь: «Да, это мне за косынку и бант для девочки дали. А сало, настоящее, розовое — так его забрали».

Оказывается, рассказали потом попутчицы, такие облавы-набеги не редкость. Избежать их — трудно. Но — можно. Немцы — люди порядка, а порядок — их порядок — требует четкой организованности. Надо бы понаблюдать и высчитать очередность. Ну, там, раз в три или пять дней. Опять же — какие поезда.

Направляли, гнали их тремя потоками. Это — полиция. У выходов — уже немцы возле больших коробов или баков. Открывали мешки, сумки, обыскивали. Бабам, у кого длинные, юбки поднимали. Полицай, что стоял рядом, указывал, в какой короб что бросать:

крупы — отдельно, муку — тоже, мясо, сало... Все так аккуратно, продуманно, по-деловому. И — спокойно: работа!

«Вот, — подняла мама пустую сумку, достала мешочек, — это не отдала. Сказала немцу: «Das ist für schwerg Kranke» (это для тяжело больного). Забрала и бросила в сумку. Поглядел так на меня удивленно и мотнул головой, проходи, дескать». — Потрясла мешочком: «Это для тебя, Андрюша, лекарство: сечка, продел из гречихи. Кашку варить будем».

Первая неудача не сломила мать. Снова стала выворачивать свои залежи, снова застрочил ее Singer. «Можно, можно... Только придумать что-то нужно», — приговаривала, ловко управляясь с ножницами, машинкой, утюгом.

Хотя, по правде говоря, настроение, это Ромка чувствовал безошибочно, было никудашное. Еда едой, а вот холод, декабрьская стужа докучать стала все сильнее и похуже, чем голод. Стали отключать электричество. Все чаще и чаще. Спасавшая их папкина печка, тупым куском металла застывшая в углу, вызывала раздражение — будто она виновата...

И тогда отец встал. «Схожу-ка я. Поищу», — сказал неопределенно, но Ромка знал — что-то уже надумал. Принес какой-то ржавый железный бочонок: «Давно собирался этот лом выбросить — буржуйку». Чистил, прилаживал дверцу, нашел самоварную трубу, у камина поставил блестящий поднос с вензелями и медалями, на него — то странное сооружение, вывел колено трубы в дымоход камина, позатыкал асбестом, потом оконной замазкой заделал щели. И — затрещали в печурке-буржуйке мелко наколотые дрова, докрасна накалился каминный уголь, остатки которого Ромка собрал на полу сарая: скоро, через часок-полтора, в комнате стало тепло и, показалось ему, даже уютно. «Вот, — сказал явно довольный собой отец, — а наверху можно и чайник вскипятить, и кастрюлю с борщом поставить, и сковородку — выбирай, мать, что твоей душе угодно!» — «Было бы только с чем», — заметила ворчливо мама. Хотя и радовало — Ромка понимал, да и видел по скупой улыбочке, мелькнувшей в уголках ее губ — отцово сооружение, но такая уж она была: редко, ох как редко можно было услышать от нее похвалу, а проявлений бурной радости, восторга — такого, пожалуй, он и отродясь не видел. То ли почему-то прятала она их глубоко внутри себя, то ли сама жизнь, полная страданий, бед, опасностей, потерь, которых и для десятых было бы много, стерла.

Утром, как обычно, взял «помойное ведро» — так назывался старый бачок с верткой деревянной ручкой — и отправился к яме, которая вбирала человеческие нечистоты всего их дома.

Стараясь не попасть ногой в щербины скользких мраморных ступеней, Ромка думал: все же мечты его, нет — вера в то, что жизнь с возвращением отца станет меняться к лучшему, пусть помаленечку, осуществляется. И тут, попав пяткой на обледеневший край ступеньки, покатился, громыхая ведром с вонючей коричневой жижей, вниз по пролету, остановившись на площадке второго этажа, прямо у дверей четвертой квартиры. Там обалдело сидел, пока штаны его, носки в валенках не схватило ледяной коркой, пока не вмерз в зловонную лужу. Мороз был далеко за минус 20?, и в продуваемом сквозняками парадном случилось все это за какие-то секунды. Да, день начинался так гадко, что он, ошалело озираясь — не видит ли кто его позор — только и смог простонать: «За что?».

К вечеру, уже после мойки-стирки, родительских утешений, после каких-то заданий по немецкому (мама) и арифметике (папа) — все втроем уселись за стол. Мама расщедрилась и отрезала по малюсенькому кусочку колбасы и сыра: «Каждому поровну», — сказала. Но Ромка, конечно, заметил: ему побольше.

После ужина отец вдруг заговорил. Нет, не вообще. А о том, чего они ждали и так боялись. О том, что же с ним было в эти почти полгода.

«Только прошу вас, — прошамкал (к беззубому его рту Ромка никак привыкнуть не мог), — я вас прошу, без всяких там ахов и охов. То, что было, то было. И дай Бог, чтобы не было уже никогда».

Рассказывал ровно, бесстрастно — все давно и не один раз передумал, перемолол в себе. Как прибыл на место, был зачислен в роту, как молодой лейтенантик-комроты подружился с ним, передав все бумажные дела. Какая неразбериха была в войсках. Обо всем этом коротко, скороговоркой. О перестрелках, беспорядочном, похожем на панику отходе...

Но вот когда заговорил о том, как на огромном поле столпились-сгрудились многие сотни, тысячи... когда, разгоня серую толпу, на поляну спустились один за другим, кажется, три «кукурузника»... когда, подбирая полы длинных шинелей, бегом кинулись к ним «генералы хреновы — с ромбами все»... Вот тогда голос его задрожал, отрывисто как-то поскакали слова. Остановился. Впалые его виски с прилипшими от пота волосами порозовели: «Бросили они нас, сволочи, бросили в чистом поле. А дальше, еще засветло, — продолжал отец, — появились немцы. Пролаяли команды свои, наизусть теперь знаю: «Halt, Hende hoch! Gewehre und alle andere Waffen — auf die Erde...» — а какой у нас «ваффен», кроме «геве-ров» — трехлинейек Мосина образца 1891 года! Сами же с автоматами, пулеметами ручными. Эх!...».

Согнали их, не всех, конечно — колонну ту, в которой отец оказался — в яму, в карьер кирпичного завода.

Поверху обнесли колючей проволокой. Вышки наблюдательные поставили. Собаки по кругу ходят — рычат, лают. Так в этой яме, размером почти с футбольное поле, весь октябрь.

Начали немцы организовывать их житье-бытье с сортировки. Только рассветет — строят и ходят по рядам с переводчиком: пальцем — ты... ты... ты... Выдергивали из шеренг сначала евреев. В сторону — и уводили. Потом за комиссаров принялись: у них красная звезда на рукаве клеймом оказалась. Кто посядил — все равно по выцветшему отпечатку определяли. А кто гимнастерку снял — и подавно. Их тоже увели. Потом — и командиров.

Остались в яме одни солдатики. У кого — пайка какая осталась в заначке. Пощипывал тот, стараясь, чтобы незаметно от других. Потом, по ночам, воровать начали. В кучки такие сбивались и отнимали. Отцу комроты две плитки шоколада и сырков плавленных пару в карман сунул, так руку одному ворюге сломать ночью пришлось...

Помолчал. Гримаса какая-то незнакомая появилась на лице. Согнал. «Жить с каждым днем становилось труднее. Потом — неумоготу совсем. А тут еще Михлик мой в панику впал: «Помрем, сгинем здесь». Я ему спокойно так сказал: «Помрет первым тот, кто думает не про то, как выжить и что для этого делать надо, а тот, кто про близкую смерть думает». Не понял, видимо, парень меня...

Стало очень быстро ясно: не нужны мы им. Мусор, помеха, скот, а не люди мы для них. И чем нас меньше — тем для них лучше, спокойнее.

Свирепствовал там один офицерик. Кривоногий, низенький, с крысиной мордашкой. Зверюга, не человек. В правой руке — стек гибкий, когда бьет — свистит по воздуху. Ударит по лицу — рассекает, как ножом. Придумал забаву: построит в шеренгу человек пятьдесят и укажет: вон до того места — бегом. Кто отстал — последнего и пристреливает в затылок из парабеллума. Потом: «Убрать!». И довольный такой, медленно вперевалочку уходит. Убрали его. Наверное, и своим зверем показался.

Сам я высчитал, как он выбирает те шеренги для забавы своей. И место такое искал, чтобы не попасть. Мишу, конечно, с собой таскал. Не попались, как видите.

После дождей глина в котловане стала рыжей вязкой жижей. Ночи — все холоднее. Спать в эту жижу ложимся. Под утро стало подмерзать. Проснешься, а встать не можешь: вмерз, коркой льда оброс.

Кормили нас... Назвать кормежкой то пойло, что наладили — грех. Свиньи, конечно, есть бы не стали. Нужна была немцам обслуга — ну те, кто котлы с той

бурдой привозит и пустые отвозит на тачках, кто трупы из глины выковыривает и наверх оттаскивает. А у тех, кого отобрали для разных работ, и хлеб и кое-что посущественней появляться стало. Когда заметил, что пухнуть начал — ноги будто водой налиты, щеки раздуло, мешки под глазами нависли — вот тогда решил от единственной ценности, что имел, избавиться. Часы Longines — подарок твой — помнишь? Выменял я их на буханку хлеба и четыре кусочка сахара. Парень, что трупы таскал, честным оказался: все отдал, как договаривались».

Замолчал, показалось, что совсем обессилел. «Хватит на сегодня. Не могу больше. Как-нибудь потом...».

«Пап, а пап, — затараторил Ромка, чтобы не дать отцу остановиться, — а почему у вас у всех: и у того солдатика, у тебя тоже — шинели обрезаны, полы вырезаны, почему?» — «Это, сынок, кто-то умный придумал отрезанными полами ноги укутывать. Чтобы не отмерзли. Помнишь, ты у меня проволоку обкусывал? Теперь, и правда, устал. Все. Спать!».

Глава 19

Морозы, для здешних мест небывалые (столбик градусника падал до минус 30°), пошли на убыль. Тогда отец попросил Ромку сходить к дяде Ване — узнать, как у них и, конечно, рассказать о его возвращении. «Мне в город пока нельзя — справка у меня об освобождении, ну, не моя. В общем, на другую фамилию. Потребуют паспорт и...».

Иван Дионисьевич — старший среди одиннадцати детей — не воевал ни на одной из войн: при царе (объяснял давно еще Ромке папа) старших сыновей-первенцев в армию не брали. Хотя ему — самому красивому и статному — не только сестры говорили: «Тебе бы, Ваня, гусарским полковником, ну, хотя бы ротмистром быть». А он, знал Ромка из отцовых рассказов, печатал книги. Сначала был переплетчиком, потом печатным цехом руководил, а в нэповские времена даже дело собственное открыл — свою типографию. Потом, до самой войны, ее главным инженером. Тетя Катя, его жена, тяжело болела. В общем, понимал Ромка, поручение было важное. Ведь ничего не знали друг о друге с самого лета.

Жили они неблизко — на улице Саксаганского, — если быстро, минут за двадцать пять дойти можно. Чтобы побыстрее, двинул проходными дворами. Миновав арку, услышал, будто окликнул кто-то. Справа, у окна в подвал и впрямь — кто-то (или — что-то?) стоял. Закутанный в женскую кофту, в бесформенных, грязных штанах, обутый то ли в валенки, то ли в сапоги, перевязанные веревками, сам — грязный, лицо в подтеках... «Не узнаешь?». Ромка испуганно замотал головой: нет,

конечно, не узнаю. В голове полетели-понесли кадры из «Путевки в жизнь»... Но тот снова осипшим голосом: «Ром, я это — Герман Завицкий».

Тук-тук, тук-тук — застучало в Ромкиной голове: эмка, шофер, дом правительства, чистенький белоголовый мальчик в бархатном костюмчике с бантом — и это. Это?.. Нет, Герка был не просто белобрысым — альбинос, говорили про него. А у этого голова — серая, нет, черная... — «Да я, я это. Грязный только — в коچهгарке, на угле живу».

Теперь только разглядел: курносый, светлоглазый... — «Покажи мизинцы», — у Герки, помнил, оба мизинца были кривые. А еще умел он ушами двигать — вверх-вниз, вверх-вниз. — «И ушами подвигай». — Показал, подвигал. Правда, он!

В 1938-ом, когда они были во втором классе, стал приходиться Герка в школу пешком, уже без бантов, в простеньком таком, как все, костюмчике. Тихий — правда, он никогда шумным не был — больше молчал, на переменках уходил в сторонку, будто прятался. Ромка видел однажды, как Елена Ивановна, оставляя Германа на дежурство, украдкой погладила его по голове — жалела?

Потом Ромка, уже от мамы, узнал, что отца Германа забрали и увезли. Что там (где — спрашивать не стал), наверное, скоро разберутся: ведь он — старый революционер, долго сидел на царской каторге, потом у Ленина работал... «Чего это ты... что случилось, Герка?». — Ромкино бормотание Герман оборвал коротким: «Мать умерла. В начале октября еще». — У Ромки застонало-заныло внутри, а мысли, беспомощные, неясные, вертелись вокруг одного: «Делать, что-то делать надо». — Сказал, больше не копясь в себе. Как отрезал: «Пошли!».

Прохожие оглядывались на мальчишек. Опрятно одетый и чистый подросток ведет грязного беспризорника, а тот волочится с неохотой, бредет, хотя и не сопротивляясь, но безучастно, покорно. А Ромка — все больше теряя решимость, растрчивая уверенность в правоте своего решения: отец не оклемался, мать мечется, чтобы как-то их прокормить, а тут — нате вам — еще один рот. Скосил глаза на плетущегося за ним Германа: «Если бы только “рот”. Раньше отмыть, переодеть нужно».

Постучал в стенку — условный знак, что свои. Открыв двери, глянув на сына, перевела взгляд на странного спутника, только чуть подняла брови. «Мам, это Герман Завицкий — помнишь, ну, из нашего 4-го “Б”...». А дальше — ни вопросов, ни причитаний. Будто все путем.

Потом все было, как с отцом: вода, балия, мочалка с мылом, бритва. Голая, только что черно-серая голова

стала желтовато-розовой, и весь ребристый скелетик тоже порозовел. Разве что тряпье Геркино не жгли: собрала в старую клеенку и велела: «Рома, вынеси во двор, ты знаешь, куда». Герман за все это время только и сказал: «Здравствуйте», почему-то в сторону отца. Тот кивнул. Все остальное вертелось вокруг мамы: достала какое-то Ромкино белье, свои теплые тапочки, накинула на острые его плечики махровый халат. «Спать будешь на этом кресле. Оно раскладное — как кровать». То был их «стратегический резерв» — место для гостя, которого оставляли ночевать. «Каким же гостем и на сколько...», — думал Ромка.

Первые дни обнаружили сходство поведения, нет, скорее — состояния Германа и отца: безразличие к окружающему, уход в себя, словно выдавленные, односложные ответы.

Но оцепенение и замкнутость у мальчика уходили быстрее. Где-то день на третий уже рассказывал, как однажды утром, проснувшись, обнаружил лежавшую рядом с ним мать холодной. Потряс, тряс все сильнее — не отзывалась. Понял: мама мертвая. Заорал. Пришли соседи. Позвали дворника. Маму забрали. Где похоронили — не знает.

Ромка хорошо помнил их комнатку в огромной коммуналке, куда их переселили из правительственного дома (где Ромке побывать не довелось). «Кабина в 6,5 квадратов», — представил новое жилье Ромке, когда тот впервые пришел к Герману в гости. Полкомнаты занимал топчан, стоявший на стопках книг. На нем они с мамой спали. Маленький столик со стулом: и уроки там делал, и ели за ним. Шкаф — между ним и «спальней» проходить надо боком. И книги: все остальное пространство до высоченного потолка заполнено-забито ими. Там Ромка впервые увидел иллюстрации Дюрера, пугавшие репродукции Брейгеля-старшего, Гойю... Много чудесных книг и альбомов было в этой «кабине». Если чему-то и завидовал Ромка тогда, то предметом зависти могли быть только книги. Хотя были и те, кто с уважением относился к его собственной библиотеке. Даже два «вечных отличника» и соперника Ленка Гомильный и Толя Сулименко. Но у Германа — тисненная кожа, золотые обрезы... Правда, добрая половина была на иностранном, в основном, на немецком.

Оба родителя Геры были родом из Латвии. Отец — Герман Михайлович Завицкий — слесарь на вагоностроительном, латгалец (так называют небольшую народность латышей, у которых почему-то фамилии похожи на русские). Мать — Эмма Карловна Краузе — из просвещенных барышень-курсисток, остзейская немка. Из тех барышень, что становились подругами и соратницами революционеров. Она и стала — сначала соратницей, потом подругой, много

позже — и женой профессионального революционера-большевика.

Герман бурную историю их семьи рассказывал Ромке позже, когда они, разгребая и разглядывая книжные богатства, становились ближе и ближе друг другу. Находили много общего, даже настроения совпадали все чаще. Но Герман был упрямым и неуступчивым. И если не мог настоять на своем, надувался и замолкал. Это Ромке не просто не нравилось — бесило его. Но интерес к «кабине» и, конечно, к ее капитану побеждал. Потому — ссорились не часто.

Отец Германа оставался для Ромки неразрешимой загадкой. Спрашивать, лезть в душу товарищу было как-то неловко. Но сам разобраться в таких очевидных, таких, вместе с тем, непонятных противоречиях он не мог. Раз большевик, революционер — девять лет на царской каторге! — наконец, с Лениным!!! — так почему забрали? Кто? Его же большевики! Значит что, Сталин — это не «Ленин сегодня», как пишут на плакатах, как в школе учат?..

Как-то Герман усадил его на топчан, порывшись, молча и торжественно принес тяжелый альбом и заговорил. Тогда только понял Ромка, что удостоен он высшего доверия. В альбоме — множество фотографий. «Вот папа во время гражданской — комиссар латышской стрелковой дивизии. Между прочим, это они, латышские стрелки, охраняли Ленина». С портрета глядел прямо на них усатый, в высокой буденовке со звездой, немолодой уже, показалось Ромке, отец Германа. На шинели с левой стороны — бант розеткой, а на ней — орден Боевого Красного Знамени. Герман постучал по ордену и заметил — номер 34 (не то 37, Ромка не помнил точно). А еще у отца — орден Революционной законности, потом — какой-то туркестанский, тоже Красного Знамени. Потом, уже здесь, на Украине — правительство тогда было в Харькове, в столице тогдашней — его орденом Трудового Красного Знамени наградили.

«А кем он здесь, когда в Киев переехал, был?» — наконец, отважился спросить Ромка. «После Италии, где был нашим представителем, назначили его председателем Верховного суда Украины. А когда забрали, был он самым главным ревизором — проверял все в партии. Назывался председатель Ревизионной комиссии Центрального Комитета партии большевиков Украины» — «Ого!» — только и смог выдать Ромка.

Эмма Карловна, вспоминая всего четыре-пять встреч с нею, казалась ему уж очень строгой, суровой. Ни разу не улыбнулась, не заговорила с ним — обращалась только к сыну. А говорила так странно, с акцентом, и слова коверкала. «Хэрман, тэтради и дэнник не забыть мне дать».

С отцом мать говорила по-латышски, объяснял Герман. «Может, чтобы я не понял — о чем они». То ли извиняясь за ее акцент, то ли поясняя, откуда он взялся, рассказал как-то, что и гимназию, и курсы женские закончила на немецком, и книги немецкие читает: «Вон их сколько!».

После смерти матери, когда дворник и еще какие-то дядьки унесли ее, началась для него новая жизнь. Нет, не жизнь — существование, в котором не успевал он схватить смысл случившегося, когда сузился он до одной единственной мысли: «Не подохнуть бы!»

Оставаться, даже подойти к разобранной, примятой маминым телом постели — он не мог. Ночевал у соседки, потом у другой. Везде тесно, у всех голодно. Потом пришел дворник, сказал, что забирает его к себе. На соседских лицах заметил облегчение.

Дворник Степан, Степка (как называл себя, когда выпьет) оказался добродушным, приветливым даже. Но в нем одном жили два человека. Тот самый — добрый, когда трезв — это Степан. А Степка — все зависело от градуса, от того, сколько «залил в себя» — ворчливый, раздражительный, злой, жестокий. А когда и вообще не человек — зверь.

Начал его новый хозяин с того, что понемногу перетаскивал, что найдет, из обезлюдевшей «кабинки»: столовые приборы — было у них и серебро, посуду — попался и дорогой фарфор. В общем, все, что отроет — тащил к себе. Когда похолодало, стал печь подтапливать книгами. Герман молча глядел на огонь. Потом сказал, очнувшись от столбняка: «А это ведь дорогие книги. Их всю жизнь мама с папой собирали».

Дворник, уже готовый бросить в печь какой-то золоченый фолиант, опустил его на пол, спросил: «Что, продать можно? Да кто их сейчас-то купит, — засомневался. — Сейчас хлебушек в цене, картопля. Ну и, конечно, водка». Потом задумался: «А у площади Толстого... как его... буки... ст. букист — там за стеклом, и в самом деле, книжки видел» — «Букинист, — поправил Герман. — Это где покупают и продают старые книги». Сказал, еще не понимая, какую беду накликал на свою голову.

Книги Степан стал таскать букинисту чуть не каждый день. Зависело от того, сколько денег выручит. От этого же зависел и градус его озверения. Скандалил Степка громко. А когда зверел, порывался прибить своего квартиранта и невольного благодетеля. Однажды так саданул по голове, что мальчик потерял сознание. Когда очнулся — решил сбежать.

Совсем рядом была больница, а истопником в ее кочегарке — дядька, который сколачивал им топчан. Здорвался с ним не так давно, встретив на улице.

«Помнит, значит», — подумал Герман, поддерживая вызревшее в нем решение.

В котельной было темно, черно, зато — тепло. «По-могай уголь подгрести, — сказал мужик, не приставая с вопросами. — Если хочешь, оставайся здесь».

Глава 20

Нескончаемый 1941-ый проводили, стараясь не вспоминать. Новый, 1942-ой встретили без надежд и веры, пытаясь не выдумывать будущее. Его — не было. Не было и света: Новый год прошел в полной темноте — электричество отключили.

Отец придумал, вернее сказать вспомнил, как в те времена, о которых Ромка знал по рассказам: лампочку заменила плошка с фитильком. Называлась — коптилка. В блюдечко, чашку, вазочку для варенья наливали жир, лучше — затвердевшие «слезы» стеарина и остатки выгоревшей свечки, опускали фитилек и поджигали. Мерцающий голубоватым светом неверный огонек отбрасывал вокруг себя пятно, в котором можно было различить предметы на столе, дальше — полумрак. Но, вынырнув из полной темноты, мир вдруг оказывался живым. На сердце становилось покойней, беспричинная тревога таяла. Так, при коптилке — отец их сделал две — и встретили они Новый год.

Вторая мамина попытка обменять тряпичные ее «художества» стала и везением, и неудачей. Повезло с немецкими кордонами — их в этот раз просто не было. Но лютовавшая зима позагоняла сельский люд в хаты. На стук городских коробейников или вообще не открывали: «Ідїть собі», или ответ был короток и безнадежен: «Не треба!».

Все же кое-что удалось добыть, и теперь новогодний стол изумлял давно забытыми яствами: жареная на обрезках какого-то жира (мамин секрет) картошка с луком, вареный бурачок, натертый на крупную терку и сбрызнутый уксусом, четыре яйца, сваренных вкрутую (жарить яичницу уже было не на чем) и ... стопка румяных то ли блинов, то ли оладьев: мама выменяла мешочек пшеничных зерен, которые Ромка с Германом на старой кофемолке — «мельничке Wien 1913» — меняя затекшие руки, два дня превращали в муку.

Январь все еще держал город в оцепенении: морозы и вьюги, тротуары тонули в снегах, люди теньями пробирались протоптанными тропинками, унылые, молчаливые. Но вот по городу пополз слух: немцев под Москвой побили, да так, что драпанули они на запад, теряя свою могучую технику, оставляя убитых, бросая раненых... Откуда они берутся, эти слухи? Дикторы по «тарелке» врут, значит, о нескончаемых победах? Приемники под страхом смертной каз-

ни — подавали, ни газет, ни других каких-то вестей «оттуда». Откуда же?..

Первой известие о победе под Москвой принесла к ним в дом особа странная, словам которой можно и не верить. Людмила Дмитриевна, мамина старая приятельница, пела когда-то в Опере. Ромка сам видел у них в прихожей афиши с ее именем, а одну, с цветным портретом в роли Микаэлла, запомнил: хорошенькая такая, большеглазая. Сейчас — нелепая старушка с густо подмалеванными полуслепыми глазками, косо накрашенным ртом, в шляпке с вуалью и нитяных перчаточках на руках, торопливо, сбиваясь, рассказывала о том, что немцы скрывают правду о московском их провале. Слушали, не отмахиваясь, по одной только причине: муж Людмилы Дмитриевны был человек во всех отношениях серьезный и солидный.

Ромка хорошо знал Михаила Федосеевича. Он и с марками помогал разобраться и, особенно, с деньгами, когда в третьем классе задумал мальчишка собирать коллекцию монет. А был этот крупный, уверенный в себе, могучий седой старик еще при царе фигурой заметной — статским советником (что-то между полковником и генералом, только штатским, объяснял он Ромке), служил в самом главном банке. При советской власти не только остался там, но и на повышение пошел: таких, как он, специалистов раз-два, и обчелся, говорили о нем взрослые. Теперь вот Михаил Федосеевич у самого Коваленко в его комиссионном бухгалтером работал.

«Да, верить можно, — сказал отец, когда ушла их гостя. — Там магазин только по названию. На самом деле — кто там только не бывает! Гликин рассказывал (это папин знакомый, главный электрик Оперы) — он там проводку делал, кабинет самого хозяина оборудовал. Так там и немцы высоких чинов, и из управы. Может, кто и рассказал или проговорился. А там и главбух домой принес... Так что верить можно, — заключил, — и хочется».

Герман — оттаивал, отогревался, становился похожим на себя. Но — внешне. Внутри вызревало в нем что-то такое, в чем Ромка никак не мог разобраться. Чем дальше — тем чаще замолкал на полуслове, стал раздражительным. Даже в мелких делах, по дому-хозяйству, в поручениях, какие приходились на Ромку, Герман участия не принимал. А мама будто и не замечала, оставив его в покое. Зато, когда садились есть, выбирала что получше и клала на тарелку ему.

Ромка злился, не понимая и не принимая несправедливости. Обижался, но все же старался, чтобы нарастающая в нем злость не выплеснулась наружу. Удавалось, хоть и не всегда.

Как-то вечером, когда все вчетвером сидели за чаем (из шиповника, папина сестра принесла кулечек — «тебе, Андрюша, на поправку»), мама торжественным голосом произнесла: «Дорогие мои мальчики, случилось так, как случилось. Судьба, значит, а над ней мы не властны. Теперь у меня два сына. А у тебя, Ромочка — брат», — Ромка быстро, исподлобья глянул на Германа. Тот, опустив глаза в стол, сидел не шевелясь. «Это наше с папой общее решение, — продолжила мама, — правда, Андрей?». Отец согласно кивнул. А Ромка подумал: раз братья, так пусть будет все поровну, не станет он ишачить за двоих: Рома, вынеси, Рома, принеси, сбегай, подними... и так без конца. А этот сидит себе и сидит! Мать, конечно, заметила их разную реакцию — замешательство одного и безучастность другого. «Ты понял, Ромочка?» — Кивнул. — «А теперь, братишки, обнимитесь». Это уже отец решил внести свой вклад. Неловко, запутавшись руками, обнялись.

Передумать, пережить, вжиться в новое состояние, осмыслить и оценить, что же это такое быть братом — каждый ведь из них рос одиночкой — не пришлось. Обрушилась беда: Герман заболел как-то сразу, в одну ночь. Ни сидеть не мог, ни лежать. По всему телу — на шее, под мышками, на обеих ягодицах повыскакивали, словно грибы после дождя, нарывы. — «Фурункулез, — определила мама, — это все его несчастья вылезли наружу» — и потом, снимая повязки, приговаривала, когда осторожно смывала бурый гной: «Вот вместе с этой гадостью, даст Бог, выйдет все-все, что накопила в тебе беда недетская. И станешь ты, Германчик, опять таким, как был».

Слушая маму, Ромка никак не мог сопоставить того беленького, толстенького, с ямочками на розовых щечках, добродушного и тихого мальчика с этим озлобленным волчонком: огрызался, отдергивался от каждого прикосновения, глядел косо... Нет, ну никак заставить себя, «быть братом», а почувствовать — и подавно, Ромка не мог. Не удавалось.

Потом проклятый фурункулез напал и на него. Мама как-то раздобывала лук, пекла в кожуре, уже для двоих. Прикладывала, размяв на тряпочке, горячую массу к нарывам. Помогало — вытягивало. Выдавливала гной, доставала стержень, снова давила, пока чистая алая кровь не потечет. И так — раз за разом, нарыв за нарывом...

Первые знаки весны совпали с последними гнойниками на измученных слабеньких тельцах мальчишек. То ли перенесенные вместе физические страдания, то ли простое привыкание-притирание друг к другу — причины, в конце концов не столь важны — но пацаны, разбежавшись было, двинулись навстречу друг другу. Появились общие интересы, их, только им при-

надлежавшие секреты. Мать обратила внимание, что шушукуются, что-то придумывают, чтобы взрослые не заметили.

Придумывали они, как помочь взрослым, снять с матери непосильные ее заботы. А тут снова в жизни их семьи поселилась тревога.

...Тетя Поля, жена отца младшего брата, грузная, но необычайно подвижная, силясь что-то вымолвить, только хватала воздух, словно рыба на берегу: «Чет... чет... вертый день их нет. Я одна, с ума схожу...». Когда немного пришла в себя, рассказала, что старые вещи — набралось много, так что сделала всем по мешку — отправила на базар, выменять еды какой-нибудь.

«Все» — тут присутствующим пояснять не нужно было — дядя Павел с сыновьями — Олегом и Игорем. Павел Дионисьевич, болезненный, тихий, и профессия под стать: плановик в каком-то бюро, был самым незаметным в семье Борецких. Олежек — вечный пример для всех детей родственников — отличник и будущий путешественник. Через два года, говорил Ромке, твердо решил идти в университет на географический. Игорешка, на два года младше его, паренек веселый (в маму) и хулиганистый (неизвестно в кого).

Вот они вместе, нагруженные барахлом отправились на Евбаз попытать счастья и пропали. Догадка была одна, тем более, что тетка, Полина соседка, видела, как немцы с полициями окружали базар, перекрывали втекавшие в него улицы. Видела она, как загоняли, заталкивали в грузовики мужчин. Облава, обычная облава — часть их теперешней жизни, неотвратимая, уже привычная. Но примириться, свыкнуться тем, что тебя вот так, вдруг заметут, загребут, как сор на совок, сбросят в ящик на колесах и увезут бог весть куда — разве это возможно?..

Панику и страх — чувства загнанных животных — сменяли разумные человеческие: поиск ответа на вопрос — почему? Нет, конечно же, и паника и страх возникали каждый раз в том, кто покидал свою нору. Но им уже сопутствовала обыкновенная человеческая потребность понять.

Ромка с Германом, прислушиваясь к разговорам взрослых, уяснили для себя две важные вещи. Одна касалась немцев. У них там, в Германии, оставалось все меньше и меньше мужиков: забирали в солдаты, на войну. А на войне — калечат, убивают. Там, в Германии, некому работать: снаряды, пушки, танки, самолеты делать. Вот и хватают они кого ни попадя, везут туда и к станкам ставят. И еще всяких там немок с их детьми кормить надо. Вот и отбирают они, немцы с полициями, еду всякую у наших мам, и у крестьян тоже. Собирают, грузят в вагоны — и тоже в Германию. И чем хуже у них дела, тем свирепствуют больше, тем облавы чаще.

Но была еще одна сторона этой новой напасти, которая задевала, нет — била прямо по ним. «Надо что-то решать, придумать что-то нужно, Андрей, — говорила мама. — И тебя, и детей так же подгрести могут. Неважно, что стариком выглядишь. Не посмотрят и на то, что мальчикам всего по двенадцать. Вон Олежка, хотя почти шестнадцать, но выглядит-то он, как Ромка. Метрик никто не спрашивает. Хватают — и в кузов».

Рома, это правда, всегда выглядел года на два старше, чем был на самом деле. Да еще на еврея смахивал: пышные темные волосы непослушно вихрились на крупной голове, карие глаза слегка навывкате, носатенький. Вот Герман — немчик и немчик: глаза голубые, волосы льняные, розовенький — прямо классический арийчик. Встретят на улице — ну кто поверит, что братья?!

Через пару дней все решилось само собой. Легко, быстро, но уж совсем неожиданно. По совету знакомого отправился отец на вокзал. Там в подвалах, где расположены пакгаузы, нужны были не то наладчики электротележек для перевозки грузов, не то их перевозчики. Шел с опаской, поставив на пан или пропал: жил он все эти дни полулегально — то ли как беглый из концлагеря, то ли как мошенник, подделавший документ об освобождении. В обоих случаях — смерть.

Глава 21

Отец все отнекивался, молчал, тянул: продолжить рассказ о том, что было дальше там, в концлагере, никак не решался.

Сказал однажды: «Не могу опять все это заново». Помолчал, передернул плечами. Потом, обернувшись к маме: «Не пойму, все мы ведь люди... а тут поделили на скотов, стадо безвольное и хозяев, которым вольно растоптать, в грязь размазать всякого из стада и все стадо вместе. И — ни-че-го...». Снова долгая пауза, но собрался как-то. Начал: «В общем, перевели нас — перегнали палками из той ямы у кирпичного, километра за полтора-два в элеватор. Там, в яме, как морозы ударили, люди во сне в глину вмерзали. Так утром в глине и находили — ломая выкалывать нужно, а некому. Не для немцев работа. А мы — полутрупы, лом из рук валится».

Перегнали стадо в этот элеватор. Ну, потеплее, от дождя, от снега укрыться можно. И всюду — не только в самом здании, на земле вокруг — до самой «колочки» — зерно рассыпано. Вот и корм под ногами. Немцы об этом знали, и расчет их был простой: пусть скотина сама и кормится.

Если бы кто с воли это жующее стадо увидал! Ходят согнувшись, на четвереньках ползают — зернышки вы-

бирают, выклеивают. Потом с ладони — в рот. Жуют, жуют вместе с пылью, грязью всякой». — Замолк. — «Что это я, вроде как наблюдатель со стороны... надо бы «мы» говорить. А то, как чужой... Будто не со мной все это было... «Дедом» меня еще на кирпичном звать стали. За бороду белую, наверное. А здесь, на элеваторе, уже другое: «Пойдем к деду», «у деда спроси» — такое вот часто слышал. Как к раввину в синагогу, приходили за советом. И не потому, что старше многих. Понял я как-то сразу, что сухое, твердое зерно, да еще с грязью, есть не нужно: не жутится, со слюной, комками, так и глотают. Пошла гулять дизентерия. Вонища повсюду, не лагерь — один большой сортир».

Первое, что сделал: стал искать зерно проросшее — с такими проклюнувшимися росточками: и мягкое, и вкусное, сладковатое, и полезнее даже. Если такого не найду, собираю сухое — очищу, продую, в пилотку сложу и — в дождь. Или снегом присыплю — растает, зернышки набухнут, тогда и жевать можно. Помните, какие зубы у меня были?

Вот и других — пацаны ведь, не очень-то смышленные — тем премудростям учил. И как ночью ложиться, чтобы не замерзнуть.

Так стал я у них и мамкой, и папкой. Только вот от цинги уберечься, думаю, мало кому удалось — мне вот не удалось...

Лютовать, свирепствовать стали здесь поменьше. Был, правда, унтер, тоже зверь порядочный. Шлюц или Шмольц. Собаками занимался. Мы его «собачьим унтером» звали. Тренировал — натаскивал — на нас. Бывало, построит в шеренгу человек тридцать-пятьдесят. Скомандует — «Stilgestand!» — смирно, значит. И спускает с поводков парочку своих волков. А если с ефрейтором — помощником приходил, то и трех-четырёх. Ну и рвут куски шинелек вместе с мясом. Собаке, когда на тебя нападает, нельзя страх показать. Нельзя не то, что бежать — отпрянуть. И еще — прямо в глаза смотреть ей нужно. Дядька твой, Коля (это отец — Ромке), — помнишь, на спор цепного кобеля, ему хозяйка миску с едой палкой придвигала — боялась, так Николай с цепи его снял и лапы передние на плечи себе поставил. Так нос к носу и ходил с ним. Это я у Коли школу собачью прошел. И — ни одна, ни единого раза не бросилась на меня. Другим тоже объяснял, учил.

Но эти собачьи забавы с тем, что было в кирпичной яме — рядом не поставишь. Хотя и здесь тот же закон железный — к колочке ближе, чем на пять метров не подходить — действовал автоматически. Ребята знали это и пользовались. Кому уж совсем не вмоготу — выбирали тот путь в десяток шагов. Выстрел с вышки — и повис на проволоке. Два-три чуть не каждый день...

Но заметно стало, что прить хозяев поубавилась: то ли похмелье от легких побед проходить стало, то ли еще что... Видимо, там на воле, за колючкой, что-то происходило. Построили нас всех, а это, говорили, тысяч пятьдесят, — во дворе, на плацу то есть. Вышел комендант с переводчиком и сказал, что сельские старосты будут по списку вызывать, по фамилиям. Если кто свою услышит — подходить к старосте и становиться с ним рядом. Если кто обманывать будет — староста доложить обязан. И — расстрел на месте.

Ну вот. Теперь всем стало понятно: нужны немцам рабочие руки. Прошлый урожай пропал на корню. Собрали, кто сумел, для себя только, мелочь. Нужно землю обрабатывать, сеять, вырастить, убрать. Чтобы тыл кормить, свой, конечно, германский. Мужиков нет, бабы одни, старики да дети. Вот старостам и велели по лагерям своих односельчан собирать — под расписку.

И тут мысль у меня пронеслась: все равно пропаду. Ну, месяц, может, вытяну. Хотя вряд ли. Рискну! Пристрелят, может и к лучшему. Что эту муку тянуть... Решился не сразу. Бывало, полшага сделаю — и назад, в строй. На третий или, кажется, четвертый раз это было. Пришли на «выкликание» трое. Оглядел их очень внимательно, стараясь в нутро забраться: один такой вертлявый, не старый еще, и голос высокий, бабий; второй — нудный, безразличный какой-то; третий — крепко уже пожилой, степенный с виду, простужен был — сиплый голос, покашливал. Сразу решил — к третьему и пойду. В глаза смотреть буду. Если ответит — значит, все: пристрелят.

Велено им кричать громко, чтобы фамилии весь плац слышал. А он сипит-хрипит — Сидорчук... Васин... Петренко — тут я и двинулся. Иду как во сне. Плыву. Ноги — не мои. И все в глаза ему смотрю. Не отворачивается. Тоже глядит на меня. На лице выражения — никакого. Еще шаг, еще... Ну, или выстрел в затылок — рядом немец с карабином наготове — или... Староста тот и бровью не повел, спокойно так говорит: «Ставай», — кивком рядом показывает. Встал. Недолгий список — фамилий с десятков — закончился. «Нашелся» я один.

Потом бумагу мне в комендатуре выправили: Петренко Андрій Динисович з села Петрівці... Петренко там в каждой второй хате, наверное. Подвез староста меня до станции на подводе. Неразговорчив, все о

своем думал. И фамилию мою настоящую не спросил. Сказал только: «А може, так, поїхали до Петрівець?». Нет, домой попробую добраться, говорю. Куда — тоже не спросил. Поблагодарил его, пожали руки, и — расстались...

Не подумайте, что я один оказался умным таким, удачливым... да нет, и до меня так спасались. Про одного знаю точно. Но вот дня за два до того, как я ушел, сначала одного, потом второго пристрелили. И все потому, что староста, будь он проклят, головой замотал и объявил, сволочь: «Ні, це не він». Вот какие разные люди бывают...».

Наниматься на работу шел отец, как потом признался, с тяжелым сердцем. Оснований было полно: если паспорт показать, то — где был все это время, с середины сентября; если справку, то установить, что никакой он не Петренко — раз плюнуть. Надо на что-то решиться. Но на что?..

В небольшой комнатке подземного пакгауза сидели у стола трое: немец с унтер-офицерскими, серебряным галуном обшитыми погонами, молодежавый, важного вида гражданский и пожилая женщина.

Командует, показалось, тот штатский. Немец тоже? Нет, обратился на чистом русском — спросил о профессии, знаком ли с электродвигателями грузовых тележек. После о том, где живет, о документах. И тут молчавший немецкий унтер, внимательно разглядывавший все это время отца, сказал что-то переводчице. А та — штатскому, что может идти.

Немец — пожилой, пожалуй, ровесник отца и какой-то уж очень, несмотря на форму, гражданский, расспрашивал тихим голосом, доброжелательно и не торопясь. Под стать ему была и седенькая переводчица, как потом оказалось, школьная учительница немецкого. О документах даже не упомянули. Только записали в книгу фамилию, имя и отчество — для пропуска, который он получит завтра, когда выйдет на работу, отремонтировать моторы электрокаров, развозивших грузы в подземном тоннеле.

Попрощался немецкий унтер за руку, вежливо улыбнувшись.

Это могло стать спасением и от двойственного — нелегального по существу положения, от постоянного опасения стать заложником, и от участвовавших облав. О том, что может принести вечно голодным домочадцам его предстоявшая работа, еще не думалось.